

Хранитель
адреса

*Слушай флейту как она играет
она плачет по тому времени
когда была тростником*
Джелалуддин Руми

Это было в тот давний год, когда вьючным коням разрешалось въезжать в Сараево, а туман еще не превратился в смог. Мелкая речка Миляцка, стиснутая броней каменной австро-венгерской кладки, издыхала прямо на наших глазах, оставляя вместо себя лишь усыпляющий шум. Шпили минаретов вспарывали низкие темные облака, пока ходжи голосами скопцов зывали к Аллаху. В улочках вокруг Беговой мечети по пути на молитву верующие стучали деревянными башмаками, ползли калеки, эффенди трясли огромными подбородками и брюхами, тащились голодные псы и облезлые кошки, а тяжелый дух жира и баранины, смешанный с дымом мангалов, пропитывал все живое вокруг знаменитого колодца с самой холодной водой в Европе. Даже колокола Кафедрального собора, расположенного на несколько сотен метров ниже, не могли своим ледяным звуком пробить густые восточные сумерки, заполненные стуком молоточков по медным кувшинам и котлам, стенаниями и заклинаниями нищих, чавкающих остатками зубов пшеничный хлеб, пропитанный растительным маслом.

С облупленного комода из старого радиоприемника на обветшавшую мебель лились струи «Римского фонтана» Оторина Респиги.

В довоенном Офицерском собрании, ныне Доме армии, симфонический оркестр, собранный с бору по сосенке, исполнял «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза под руководящей палочкой грека, маэстро Бориса Папандопуло, из фрака которого летела в зал моль. Кто знает, за какие такие

тайнственные прегрешения сослали его власти в наказание из Загреба в Сараево. Оркестрантов наскребли из разных краев; были среди них потомки чешских и мадьярских чиновников времен Австро-Венгрии — гобоисты и валторнисты, скрипки прибыли из разогнанной в Осиеке оперетты, а виолончели сбежали из Болгарии. Стены зала, богато украшенные гипсовой лепкой, гирляндами и венками, подходили бы на украшения белого свадебного торта, если бы они не окружали два гигантских полотна: «Форсирование Неретвы» и «Битва при Сутьеске», которые в манере Эжена Делакруа (если бы тот был в партизанах) исполнил один государственный художник. Тифозные бойцы на отощавших лошадях поднимались к роскошным хрустальным люстрам, заказанным до войны в Мурано. И потому «Фантастическая симфония» звучала еще фантастичнее, особенно в тех пассажах, когда в лирический лейтмотив, этот *idée fixe* Гектора Берлиоза, посвященный несчастной любви к актрисе Смитсон, врывалось пикивание гармоники и вопли исполнителей народных песен и героев из соседнего ресторана, в котором последние, совсем недавно еще молодые и стройные люди, а теперь в мгновение ока превратившиеся в упитанных генералов и командиров, пили вермут и пиво, окруженные свитой подхалимов и придворных шутов. Обслуживали их ловко и быстро все те же старые довоенные официанты — новых еще не было, — которые некогда обслуживали королевских офицеров в этом же доме и продолжили обслуживать немцев, когда те заняли прекрасное здание.

На старом железнодорожном вокзале, наголо обритые и повернутые к стене, чтобы кто-нибудь случайно не рассмотрел их лиц, сидели прямо на бетоне в ожидании состава каторжники, скованные длинной цепью. Стерегли их здоровенные милиционеры в тяжелых шинелях до пят со снятыми с предохранителей русскими автоматами в руках.

Городская газета называлась «Освобождение», а единственное издательство — «Свет». В Народном театре на Набережной давали балет Николая Римского-Корсакова «Шехерезада», в котором танцевали переученные балерины из народных ансамблей песни и пляски, а в ролях евнухов с видимым наслаждением выступали последние педерасты, случайно выжившие во время освобождения.

Иво Андрич, сумевший выбраться из Сараево, куда его послали жить после войны в «уединенном доме», опубликовал отрывок из «Сараевской хроники», которую все ждали с огромным нетерпением; в нем рассказывалось о том, как оголодавшие боснийские батраки тащат по сухим потрескавшимся полям тяжеленное пианино для красавицы жены Омер-паши Латаса в Сараево.

По городу ходили слухи, что больше ему ничего не позволяют напечатать. Потому как той же дорогой приволокли огромный рентгеновский аппарат на виллу одного коммунистического паши посреди Боснии, чтобы его хворой дочке-любимице не пришлось ходить на регулярные осмотры в поликлинику. Художники считали его большим меценатом. Он часто приглашал людей искусства к себе на вечерние посиделки, во время которых ел пальцами плов из казана, в то время как босая местная примадонна танцевала на ковриках, распевая арии из оперы «Кармен». Благодаря его утонченному вкусу были заказаны, оплачены и установлены те два живописных шедевра на стенах концертного зала Дома армии. Местные художники писали сезанновы яблоки, вместо того чтобы есть их, а гору Требевич, что высится над городом, пытались превратить в Сен-Виктуар.

Старые сараевские писатели, которые не умели писать о гидроэлектростанциях, попрятались в норы, третьеразрядные кабаки и в букинистический магазин на Зриньской улице около Кафедрального собора, принадлежавший Садику Бучуку.

Этот благородный человек владел в то время единственным списком перевода турецкой летописи старого сараевского хрониста восемнадцатого века, Муллы Мустафы Башешкии, в котором я прочитал следующие строки:

Сараево со стороны юга, или киблы, закрыто большой горой Требевич, так что сараевцы вообще лишены разума. Ум у них есть, но соображают они медленно, как в пословице говорится: «После того, как Басру разрушат». Сараевцы вроде скотины, и часто плохое они считают хорошим, и наоборот (1781).

Неполных восемнадцати лет с первым в своей жизни рассказом «Чудо, случившееся с Бель Ами», я стоял в приемной главного редактора литературного журнала «Будущее», на пороге, за которым меня ожидала слава.

Молодой писатель приносит своего первенца на осмотр.

Рассказом, зажатым в потном кулаке, красиво перепечатанным подружкой Верой, бедной маленькой машинисткой, я был доволен больше, чем своим внешним видом. Перед секретаршей, искусственной блондинкой с, естественно, голубыми глазами, чьи бедра, словно поднявшееся тесто, сползли со стула, а огромные колышущиеся груди едва не выпадали из декольте на клавиатуру пишущей машинки «рейнметалл» с длинной кареткой, на которой печатают гонорарные ведомости, стоял тощий, как саженец, молодой человек на кривых ногах, в тщательно отреставрированном по такому случаю костюме. Его дешевый серый материал, на который возлагалось столько надежд, похоже, был изготовлен из целлюлозы и обладал странным свойством: прошлогодние пятна исчезали во время глажки через мокрую тряпку или сырую газету, но стоило только надеть костюм и выйти на улицу, как они проступали из предательской серости и безутешно расцветали под светом дня, выставляя напоказ собственную изношенность и нищету.

Итак, я стоял перед блондинистой хранительницей храма литературы, желая только одного: погрузить лицо в будоражащее пространство меж ее грудей и остаться там навсегда, сливая собственные соленые слезы. Но разве были у меня хоть какие-то шансы перед этой роскошной рубensoвой красотой, у меня, серого пугала со светлыми каштановыми волосами, смазанными ореховым маслом, с оттопыренными ушами (из-за которых я неоднократно подумывал о самоубийстве) и с тощими мускулами без всякого намека на мышцы? Все надежды я возлагал на «Чудо, случившееся с Бель Ами» — на рассказ, который в один прекрасный день распахнет передо мной объятия похожих, а может, и еще более прекрасных блондинок. Литературная священнослужительница жевала краюху свежего хлеба и куски зельца с промасленного листа бумаги, лежащего на стопке рукописей неудачников вроде меня, и ее покрытые красным, как кровь, лаком ногти подносили куски этой жирной пищи, похожей на пестрый мрамор, к накрашен-

ным губам, напоминающим на белом лице свежую сладкую красную рану. Над верхней губой у нее была черная родинка с двумя волосками — чур, чур, чур. Ей предстояло решить, пропустить ли меня к великому жрецу, главному редактору «Будущего», чья значимость, как божественный свет, струилась сквозь мутные стекла двустворчатой двери, ведущей в чью-то довоенную, ныне конфискованную, столовую. И она смилостивилась и пропустила меня.

В те годы редкие интеллигенты, которым повезло увидеть Париж, рассказывали нам о Жане-Поле Сартре, который, несмотря на косоглазие и малый рост, был тогда в большой моде и гремел по всей Европе, и о его подруге Симоне де Бовуар, с которой он жил не как все нормальные люди, в общей квартире, а в незарегистрированном браке, в двух гостиничных номерах. Он редактировал литературный журнал “Les Temps Modernes”, и каждый напечатанный в нем становился знаменитым. Искусственная блондинка за «рейнметаллом» была для меня в тот момент недостижимой Симоной де Бовуар, а человек за дверями с мутным стеклом — куда важнее Жана-Поля Сартра. И меня поразило, что вместо косоглазого карлика, которого я ожидал, там оказался здоровенный мужик, похожий на моих деревенских родичей, с крепкими выдающимися скулами и крупными небесно-голубыми глазами, налившимися кровью после вчерашнего загула.

Я положил рукопись на стол этого крепкого мужика с бритой мордой, и он предложил мне сесть. Рассказал, что для нашего общества чрезвычайно важен каждый пишущий молодой человек, потому что среди них может оказаться и новый Шолохов, которого он уважал более всех прочих писателей, еще с ранней юности. Он был ветераном войны, и его однополчане, занимающие теперь важные посты, доверили ему руководить первым литературным журналом в республике, так как во время войны он редактировал в романских селах стенные газеты. Для тех, кто не знает: стенная газета издавалась в единственном экземпляре, во всю ширину листа упаковочной бумаги под названием «крафт», и вывешивалась на стене; в ней была передовица, отпечатанная на пишущей машинке, портреты партизанских вождей, написанные от руки стихи, и часто в них помещались политические доносы, многим стоившие головы. Все эти

листочки приклеивались на «крафт» гуммиарабиком — клеем из маленьких стеклянных бутылочек, на которых было написано «гуми арабикум — арабский клей».

Поскольку мне тогда было восемнадцать лет, этот мужик с гор казался мне очень старым, хотя вряд ли ему тогда было больше тридцати пяти. От него несло табаком, дешевой ракией и потом, а из ворота рубахи вылезали густые черные волосы, будто на нем была надета меховая нижняя рубаха. За немытыми стеклами редакторского кабинета красовался стройный силуэт сараевского Кафедрального собора.

Я пришел к нему не один. Со мной были Марк Твен, Чехов, Стивен Ликок, О. Генри, Джеймс Тербер, Уильям Сароян и многие другие мои учителя, которые с трепетом ожидали, чем завершится мое торжественное выступление в «Будущее». Я читал с детства, читал их под мигающими тусклыми лампочками в двадцать пять свечей, свет которых делает уродливым любое человеческое жилище, читал их в поездах и под партами мрачных классных комнат Первой мужской классической гимназии — учился у них, желая выкарабкаться из унижающей меня нищеты, чтобы в один прекрасный день мое имя напечатали такими же большими буквами, как их имена. В то время я действительно верил, что существуют два мира: один, в котором я вынужден жить, — кухонный мир столов, покрытых клеенкой, облупленных комодов и плит, на которых разогревается отвратительная безвкусная вчерашняя пища, безнадежная скука сараевских послеполуденных улиц и редкие интересные лица случайных проезжих через Сараево, которые иногда можно было увидеть за большими стеклами отеля «Европа» с салфетками на шеях, глядящими на нас, как мы тащимся мимо этого для нас великосветского места по вечному маршруту от Кафедрального собора, представлявшего псевдоготику Запада, до Башчаршии, которая служила преддверием псевдоориентальной экзотики. В моей молодой голове существовал другой мир, в котором жили полубоги — писатели вроде бородатого Хемингуэя и декадентствующего Фитцджеральда (темные блейзеры с золотыми пуговицами и светло-серые фланелевые брюки, ниспадающие на начищенные мокасины цвета гнилой вишни).

И вот наконец-то я здесь, после многочисленных страхов и опасений — а стоит ли вообще браться за это, после бесконечной стилистической правки «чудес, случившихся

с Бель Ами», замены некоторых слов и исправления пунктуации, — наконец в главном кабинете «Будущего», перед человеком, который решит, печатать меня или нет.

Он велел мне прийти в следующий четверг к девяти утра.

Что это за Бель Ами, про которого я написал рассказ?

Мой лучший друг с детских еще лет, а поскольку он был на три года старше (что в нежном возрасте есть приличная разница), то стал для меня кем-то вроде вождя. Кроме того, оба мы были в семьях единственными детьми, так что я нашел в Бель Ами старшего брата.

Жили мы на одной улице, в домах с общим двором, повернутых друг к другу внутренними, кухонными фасадами. Эти печальные желтые постройки с облупившейся штукатуркой были связаны длинными террасами, заваленными дровами, ветхой мебелью, бочками из-под квашеной капусты, тазами, вениками и прочей ерундой; в отличие от изукрашенных уличных фасадов они, словно вывернутый наизнанку желудок, демонстрировали двору истинную картину пасмурной мещанской жизни.

Бель Ами уже в десять лет установил связь между нашими двумя террасами, протянув спаренную бельевую веревку, дергая за которую мы могли обмениваться различными драгоценностями, наслаждаясь этим эпохальным изобретением так, будто мы придумали колесо или научились разжигать огонь. Эта веревка установила связь между двумя одиночествами на долгие годы.

Хотя мы жили в семьях с одинаковым достатком, Бель Ами всегда был богаче меня. До сих пор не могу понять, почему, например, если у меня было шесть керамических шариков, то вскоре оставался всего один, а первые пять перекочевывали в его карманы. Еще он выдавал мне тогда на день или на два комиксы с принцем Валиантом и с Флешем Гордоном, а я за это должен был навсегда подарить ему драгоценный карманный фонарик (правда, без батареек и лампочки). Или он одолживал мне свой фальшивый деревянный кольт, а я отдаривал его за это тремя настоящими винтовочными патронами. Если мне удавалось дать ему чем-то временно попользоваться, то

я бывал счастлив, удостоившись небрежной королевской милости за принятое подношение, например, довоенный калейдоскоп — картонную трубу, в которой при вращении разноцветные стекляшки превращались в чудесные орнаменты. Тогда я стеснялся напомнить, чтобы он вернул игрушку, и калейдоскоп остался у него навсегда. Во время бомбардировок Сараево, когда я вынужден был томиться в подвале, где женщины стенали от ужаса, а на наши головы сыпались с потолка струйки перемолотой в пыль штукатурки, Бель Ами выбирался из дома, бежал на улицу и скакал по тротуарам, влезая сквозь битое стекло в витрины и вытаскивая из них что попадет под руку. Таким образом он стал обладателем несказанного богатства, собранного под бомбами. Однажды это были болгарские сигареты «Злата Арда», которые он выменял на противогаз, и солдатская манерка, обтянутая пестрой телячьей шкурой, правда, пробитая пулей, а в другой раз появилась динамка с велосипеда, благодаря которой, когда колесо крутится, в фонаре загорается маленькая лампочка. Но самым невероятным богатством стал телеграфный ключ, с помощью которого он часами отправлял таинственные сообщения детективу Тому Хантеру, главному герою романа с продолжениями, ни одного из которых он не упустил купить. Если к этому добавить два пустых пулеметных магазина, украденных с сожженной итальянской бронемашины, ржавеющей на дороге в Бент-башу, а также военный бинокль с одним разбитым окуляром, можно было всерьез говорить о том, что Бель Ами был одним из самых богатых мальчиков военного времени. Мало того, его богатство непрестанно увеличивалось. За то, чтобы посмотреть в этот бинокль, следовало заплатить оккупационными деньгами — кунами; брал он и яблоками, ломтями хлеба с сыром или двумя драгоценными стеклянными шариками. Вспоминая сейчас об этом, я ничуть не жалею о том, что платил ему; в этот одноглазый бинокль я впервые детально рассмотрел вершину знаменитой скалы Ековац, откуда прыгали все сараевские самоубийцы, белые домики на склонах Требевича и зрелое тело переодевающейся соседки Эльзы.

Бель Ами уже тогда находил тайные укрытия, в основном в брошенных развалинах, куда редко кто заглядывал без крайней необходимости, знаком он был и с подземными ходами, что связывали их, у него даже был их рисованный план, похо-

жий на пиратские карты из «Острова сокровищ» Стивенсона. Мы поднимались по обвалившимся лестницам, на которые никто не решался ступить, потому что они могли в любую секунду окончательно рухнуть, прямо на второй этаж соседнего разрушенного здания, фасад которого словно срезали ножом. В уцелевшей половине, в столовой чьей-то некогда счастливой квартиры, ныне заваленной битым кирпичом и штукатуркой, осталось кое-что из мебели: кресло “*großvater*” со следами засохшей крови, тяжеленный и потому не вынесенный по остаткам лестницы комод и даже криво висящие картины с разбитым остеклением.

В этом тайном укрытии, откуда мы видели всю улицу, оставаясь при этом незамеченными, мы чаще всего проводили время. Всюду на полу валялись сброшенные с полки книги, переплеты которых покоробились от пыли и дождя, проникающего сквозь щели разбитого потолка. Мы нашли там «Тимпетил — город без родителей» Эриха Кестнера и, привлеченные иллюстрациями, принялись читать ее; в итоге она стала нашей любимой книгой. Мы обустроили нашу маленькую секретную базу, расчистили обломки, выколотили пыль из кресла, чтобы в нем можно было сидеть, отремонтировали полку и вернули на нее книги. В ящиках комода спрятали наше общее добро. Мы украли свечи и приспособили фонарь для передвижения по лабиринтам подвала в случае вынужденного бегства. Запаслись даже некоторым количеством пищи, раздобыв пачку немецких галет и три банки консервированного паштета. Бель Ами обладал драгоценнейшей вещью — перочинным ножом, вызывавшим у всех нас зависть, потому что в нем кроме лезвия прятались маленькие ножнички, пила, штопор и консервный нож.

Мы читали «Тимпетил» по очереди, а кому начинать первым, решали при помощи довоенной монетки, которую Бель Ами большим и указательным пальцами ловко запускал в воздух и ловил на ладонь, после чего смотрел, что выпало — орел или решка. Решкой был я, орлом — он. Так вот и читали по очереди, вслух, проглатывая тяжеленные хорватские слова и заграничные имена, напечатанные в оригинальной транскрипции издательством “*St. Kuglija — Zagreb*”. Эта книга просто очаровала нас, потому что, судя по иллюстрациям, речь в ней шла о городе, похожем на наш, в котором все родители в один

прекрасный день решили проучить своих невозможных детей и, пока малыши спали, покинули на несколько дней Тимпепит, чтобы те поняли, насколько им необходимы взрослые. Короче говоря, дети сначала перепугались, но на второй день взяли власть в городе, пооткрывали магазины, ввели в строй электростанцию, обеспечили себя необходимыми продуктами, даже пустили трамваи и целыми днями катались на них. Когда озабоченные родители вернулись, город просто-напросто процветал. Когда приходил черед Бель Ами читать книгу, он пропускал те пассажи, которые ему не нравились, и читал только то, от чего сам приходил в восторг. Привычку читать вслух по очереди мы сохранили надолго, вплоть до того момента, пока не разошлись по жизни каждый своей дорогой.

Пока один читал, другой лежал, заложив руки за голову, и мечтал. Может быть, мы неосознанно заменяли таким чтением материнские сказки перед сном — ведь у нас с ним матерей не было.

Уже в тринадцать лет Бель Ами прекрасно знал город и многие его тайны. Однажды он отвел меня в высокий дом на улице Ферхадия, чтобы показать нечто очень важное. Он провёл меня в подъезд, и мы остановились перед узкой дверью, рядом с которой горела маленькая красная лампочка. Как только она погасла, Бель Ами распахнул дверь и мы оказались в странной коробке с зеркалом, из которого нам строили рожи лица, искаженные светом небольшого плафона. Он нажал белую кнопку, на которой была написана цифра «шесть», комната дернулась, потом двинулась, поднимая нас в воздух, от чего у меня закружилась голова и скрутило живот. Это была моя первая поездка на лифте в городе Сараево, который тогда был только в здании по имени «Небоскреб». Так мы проехали вверх-вниз по крайней мере раз десять, пока здоровенный мужчина не ухватил нас за уши и не выбросил вон.

Особенное выражение улыбающемуся Бель Ами придавали редкие передние зубы, сквозь которые, лежа в воде на спине, он мог, подражая киту, пускать тонкие струйки. Он также умел, вставив два указательных пальца в уголки рта, громко свистеть, совсем как паровоз, чему я всегда страшно завидовал. Не раз я сам пытался свистнуть таким же образом, но ничего не получалось.

Как и прочие сараевские ребята, мы часто играли в при-стенки, бросая монеты к черте, проведенной в мягкой земле. В Сараево эту черту называли «чиза», и все брошенные монетки забирал тот, чья денежка падала к ней ближе прочих. Но, не считая обычных, мелких, полудозволенных пороков, Бель Ами никогда не впадал в азарт. По правде говоря, он еще ребенком играл с судьбой, решая, куда отправиться или чем заняться, только после того, как подбросит монету и поймает ее, прикрыв сверху другой ладонью. Если мы вечером никак не могли решить, куда нам тронуться, в «Европу», например, или в «Два вола», на танцы в «Согласие» или в Дом физкультурника, если мы никак не могли решить, какой из двух фильмов посмотреть сегодня, он вытаскивал из кармана динар, бросал его как можно выше и ждал, что сегодня выпадет на ладонь: орел или решка. И я всегда выбирал решку, он — орла. И он всегда выигрывал у меня; как это ему удавалось, я не знаю, но мне всегда выпадало первым подойти к ней, изобразить из себя дурака, обаять ее и познакомить с Бель Ами, после чего тот уводил ее, оставляя меня на улице в одиночестве.

Такие отношения между нами сохранились и в юношестве; если я знакомил его с кем-то, то он сразу становился этому человеку гораздо ближе, чем это удавалось мне. Я даже уверен в том, что они перемывали мне косточки в мое отсутствие. Как в детстве, когда речь шла о шести крашенных глиняных шариках, из шести девушек, с которыми я знакомил его, пять оставались у него в кармане, а мне оставалась только одна, к тому же наименее привлекательная.

Во всяком случае, Бель Ами был необычным человеком. Он вырос в симпатичного, стройного юношу с печальными серыми глазами и неукротимыми светлыми волосами, пряди которых падали лоб. Его образованность, хотя и неупорядоченная, была практически энциклопедичной, когда речь шла о комиксах, кино или театре, которые неудержимо влекли его. Уже в четырнадцать лет его голосом активного участника пионерского театрального кружка вещали сверчки и муравьи в Сараевском кукольном театре под руководством знаменитого Яна Ухерки.

В те годы репертуар кинотеатров менялся раз в неделю, а билеты нам были не по карману. Тот, кому удалось посмотреть кино в «Романии» — довоенном «Империале», или

в «Партизане» — прежнем «Аполло», пересказывал прочим в тоскливых сумерках содержание, а мы, сидя на ступеньках какого-нибудь подъезда, слушали счастливого затаив дыхание. Бель Ами был чемпионом мира по пересказам. Многие фильмы, которые мне потом удалось посмотреть, вовсе не были так прекрасны и увлекательны, как тогда, в его исполнении. Он мог стать красной конницей Буденного на полном скаку или посреди засушливого сараевского лета отбивать чечетку в невидимых лужах точно как Джин Келли, «распевая под дождем». Он плавал перед нами по суше на спине, совсем как Эстер Уильямс в «Бале на воде», дул в сжатый кулак вроде Гарри Джеймса в «Юноше с трубой» и много раз падал нам под ноги, сраженный пулеметной очередью из военного фильма. Глаза Элизабет Тейлор не могли сравниться сиянием с его глазами в любовной сцене с Монтгомери Клифтом в «Пути в высшее общество». Он был прирожденным актером.

Может быть, о нем лучше всего расскажет старое, почти уже забытое происшествие, когда в мае 1945, через месяц после освобождения Сараево, в город прибыла большая колонна УНРРА с помощью сиротам войны.

UNRRA. United Nations Relief and Rehabilitation Administration.

Все, у кого дома были сироты войны, ждали, когда их позовут на склад, как ждут очередного тиража лотереи, в которой разыгрывается необычайно богатый денежный приз. Так что сироты впервые в жизни почувствовали себя важными и значительными персонами — они стали настоящими избранниками международного счастья. К тому же взрослые за помощью не ходили; было приказано, чтобы на склад — длинный ангар на окраине города — являлись только дети, без сопровождения старших, чтобы те не могли повлиять на их выбор.

Десятилетний Бель Ами, у которого родители погибли в самом начале войны, вырос в доме своего деда, Еврема Батала, довоенного торговца коврами, которого в Сараево все называли «Хозяин Хозн», потому что он первым в Башчаршии надел подтяжки, или, как их называли, «хозн-трегер». Он-то и прозвал своего внука Бель Ами, по названию старой пластинки, которую он обычно, находясь в приятном распо-

ложении духа, крутил на граммофоне с ручкой, купленном в «Джангл и брат»; на этикетке пластинки собака сидела перед граммофонной трубой, внимательно слушая «голос своего хозяина» — *“His master’s voice”*.

«Ты не красив, но симпатичен, Бель Ами...» — хрипел на семидесяти восьми оборотах популярный довоенный тенор Мият Миятович. Дедушка Еврем присвоил ему такое прозвище из-за легкомысленности, которая была присуща ему с самого раннего детства.

Соседские дети, уже получившие вспомоществование, рассказывали настоящие сказки о невиданном богатстве складов, этих настоящих пещер Али-Бабы. Чего только в них не было, но детям было позволено взять только одну вещь из огромной кучи, настоящей горы одежды и обуви, пакетов с едой, курток на меху, красных клетчатых шерстяных рубашек канадских дровосеков, ранцев, плащ-палаток, военных раскладушек и прочих чудес.

Целую неделю все домашние — дедушка Хозн, бабка Мойца и обе незамужние тетки — уговаривали Бель Ами быть умницей и выбрать вещь, которая пошла бы на пользу всем. Измученные голодом в пустом, некогда крепком хозяйском доме, стены которого теперь зияли пустотой, они хотели всего и ожидали, что десятилетний, слишком рано повзрослевший мальчишка вытащит их из нужды и докажет, что его легкомысленное прозвище не имеет ничего общего с истинным характером.

«Ребенок, который потерял только отца, может взять одну вещь, как и наш Бель Ами, у которого убили и отца, и мать! Это нечестно!» — рассуждали они за ужином, состоявшим из крапивного супа и мелкого вареного проса.

Они кое-как пережили войну, распродавая все нажитое за долгие годы. Сначала сплавляли граммофон вместе со всеми пластинками, слушавшими «голос своего хозяина». Пишущую машинку марки «Адлер», они, как и все прочие, вынуждены были сдать немцам. Зато радиоприемник “Lorenz Tefag” они спрятали за двойной стенкой в кладовке, куда уходили ночью, чтобы, укрывшись с головой одеялом, дабы не слышали соседи, слушать очень тихий, далекий «Голос Америки», едва пробивающийся сквозь шум океанских волн, и знаменитого диктора Гргу Златопера, который рассказывал

о том, как «американские домохозяйки готовят на электрических плитах». Голова к голове, освещенные трепещущим зеленоватым светом волшебного глазка радиоприемника, они ожидали вторжения — высадки американцев на берега мелководной Миляцки. На хрустальный коньячный сервиз на двенадцать персон выменяли у крестьянина из Пале бидон смальца, а вслед за сервизом (кстати, бабушкиным свадебным подарком) ушли за мешок некачественной кукурузной муки драгоценные люстры «холландез», каждая с десятью никелированными рожками; далее последовали столовый гарнитур «альт дойч» с раздвижным обеденным столом и обтянутыми кожей стульями, подсвечники чистого серебра, спальная комната, картины и гобелены, даже оклад с иконы; самого святого Георгия крестьянин брать не захотел, поскольку его именины приходились на какого-то другого святого.

Дедушка Хозн, самый знаменитый сараевский торговец коврами, снабжал ими знаменитейшие тешлиханские семьи: Ефтановичей, Бесаровичей, Деспичей, и даже самому сараевскому муфтию поставлял бухарские молитвенные коврики, сотканые из шелка и кашемира. Казалось, у него были все ковры мира, кроме ковра-самолета из «Тысячи и одной ночи», который ему в 1944 году в виде коврового бомбометания сбросили на голову обожаемые им американцы и англичане. Он и раньше банкротился, по меньшей мере раз пять, так что внезапную военную нищету он воспринял без особого страха. У него описывали и арестовывали движимое и недвижимое имущество, а он опять начинал торговую карьеру, даже без магазина на Александровой улице и просторных складов на Пируше, над Башчаршией, таская на собственных плечах по одному, а то и по два смотанных в трубку ковра по сараевским улицам и дворам, совсем как мексиканцы носят свои свернутые пончо. Он продавал их и вновь поднимался на поверхность, произнося с философским придыханием: «Как только — так сразу...», что могло означать все и ничего не значить одновременно, кроме, может быть, примирения с судьбой и с жизнью.

Но только одну-единственную вещь они и не помышляли продавать — швейную машинку «зингер», которую бабка Мойца привезла из Марибора в качестве приданого, когда вышла замуж за дедушку Хозна, не подозревая, чего только ей

не придется вынести в этом темном боснийском вилайете, где непрестанно происходят всякие чудеса. Ругались они обычно, чтобы не задеть домашних, на немецком, ибо старый Хозн служил в австро-венгерской армии в Словении, откуда и привез свою Мойцу — тогда крепенькую полную девушку, которая родила ему трех дочерей и всю жизнь смиренно переносила его характер, его падения и взлеты, глубокие запои и тяжкие похмелья, его любовниц, пока он еще мог, и болезни, когда он лишился мужской силы. Казалось, хозяин Хозн — мощный мужик, шумный и упрямый человек — бесспорный господин в этой женской семье, но все, по существу, решала мелкая старушка Мойца, позволяя своему огромному мужу наслаждаться ролью домашнего деспота. Бель Ами был сыном их старшей дочери, которую немцы схватили с листовками в руках и публично повесили в 1941 году, несмотря на то, что старый Хозн отнес жестяную коробку из-под сигар «Монте Кристо», доверху наполненную наполеондорами — всеми своими сбережениями, чтобы подкупить какого-то офицера; тот золото взял, но ничего не сделал ради его любимицы, старшенькой доченьки. Листовки и пистолет дал ей отец Бель Ами, который потом убежал куда-то в горы, где и погиб в одном из знаменитых сражений. Дедушка Хозн так и не простил ему, даже мертвому, что он втравил дочку во все эти дела.

И вот благодаря именно этому старенькому «зингеру», на котором бабка Мойца обшивала всех соседей, они кое-как пережили военные годы. Ссохшаяся старушка с губами, вечно полными иголок и булавок, шила платье, перелицовывала старые пальто, укорачивала и наставляла, латала, ловко и задорно поскакивая вокруг клиента, всегда с плоским портновским мелком в руке и с сантиметром на шее, словно она шьет драгоценное подвенечное платье во времена, когда почти никто не решался венчаться.

В последний год хозяин Хозн не выходил из дому, потому что не в чем было. Его довоенные лаковые ботинки и элегантные двухцветные туфли с дырочками, из коричневой и белой кожи, стали ему малы из-за отекавших в результате какой-то болезни ног, распухших до пятьдесят второго размера. Многие вещи, несмотря ни на что, можно было достать и во время войны, но только не обувь, которая стала настоящей редкостью. У Бель Ами тоже не было башмаков. У десятилет-

них ребят ноги растут не по дням, а по часам, так что всю последнюю военную зиму он проходил, обмотав ноги тряпками и связав их шпагатом; на снегу все это сооружение быстро размокало и схватывалось льдом, так что он был обладателем настоящей ледяной обуви. Но, к счастью, наступила весна, и он мог носиться по улицам босиком, как, впрочем, и все остальные дети в округе. Бель Ами весь день играл в развалинах улицы, на которой он родился, а вечерами, до самой глубокой ночи, глотал, в который уже раз, комплекты довоенных комиксов про Флэша Гордона и Зигомара, у которого были длинный черный плащ и перстень со зловещей буквой «З», а также фантастический автомобиль-амфибия, который по необходимости превращался в самолет, вооруженный смертоносными лучами. Тетки заказали себе у столяра элегантные сандалии с деревянными подошвами — последний крик моды той эпохи, — которые стучали по асфальту ничуть не хуже копыт тяжеловозов, тащивших телеги с непомерным грузом.

И вот теперь все ожидали спасения от маленького Бель Ами. Дедушка Хозн желал получить высокие кожаные башмаки, чтобы можно было выйти из дома и посидеть с людьми в трактире, причем он был уверен, что такие на складе найдутся. «Так ведь Америка ж!» — говорил он, описывая в деталях их цвет и толщину резиновой подошвы. Тетки советовали Бель Ами найти в этой баснословной куче парашют (они наверняка знали, что они там встречаются), из которого мать бы сшила им два чудеснейших шелковых платья, а Хозну и ему — несколько рубашек, и еще бы осталось материала для постельного белья, превратившегося уже в невыразимое рванье. Только бабка Мойца, как всегда, ничего не просила, а смотрела на него поверх очков, закрепленных за ушами провололочкой, и бормотала: «Нищета проклятая!», прекрасно зная характер своего внука, кровинку от своей крови.

Наконец настал этот судный день, когда Бель Ами следовало получить заслуженную военную компенсацию за своих погибших родителей.

Всей семьей его проводили до подъезда, даже дедушка Хозн в носках, и смотрели, как он, тонконогий и босой, несетя вниз по своей разрушенной улице навстречу благосостоянию, которое ожидает его на окраине города. Дедушка

бросил взгляд на стекающий вниз тротуар, куда он не выходил больше года, и философски вздохнул: «Как только — так сразу...», после чего с трудом поднялся по лестнице в квартиру.

Бель Ами очутился перед комиссией, которая восседала за длинным столом, из-за которого простирался вид на обетованные золотые горы высотой до самого потолка. Офицер в английской униформе табачного цвета спросил у него имя и фамилию, долго искал его в списке, после чего велел выбрать, что его душе угодно, еще раз предупредив, что вещь должна быть только одна. А если речь пойдет про обувь, то, конечно, можно пару.

Бель Ами врзался в гору и выбрал.

Его ждали у парадной: дедушка Хозн в носках, обе тетки в деревянных сандалиях. Бабка Мойца, облокотившись на подоконник, отстраненно смотрела на них со второго этажа.

Они увидели его издалека, как он, по-прежнему босой, бежит посреди улицы на своих рахитичных ножках, с руками, вытянутыми в стороны, словно крылья самолета, пикирующего на цель. Но его и так не маленькая голова, казалось, была в два раза больше, к тому же она издавала далеко слышный гул авиационных двигателей.

Он пикировал на них, чтобы добить улицу.

И только когда он оказался совсем близко, они увидели, что он выбрал из всех возможных в мире вещей — это был самый бессмысленный выбор в мире — огромный кожаный летный шлем с наушниками и резиновым хоботом для подвода кислорода.

До самой смерти они не только не простили ему этого, но так никогда и не поверили в то, что он может стать серьезным человеком.

На следующий, уже мирный год умер дедушка Бель Ами, хозяин Хозн. Все старое торговое Сараево провожало его на православное кладбище в Кошево. И только тогда стало ясно, как его ценили в городе. Местный фотограф сделал довоенной «лейкой» кучу снимков процессии и прощания, но у бабки Мойцы не было денег, чтобы выкупить их. На одной из фотографий, полученных ею в качестве образца, можно увидеть Бель Ами, который в коротких штанах, с венком в руках, оптимистически улыбается в объектив.

Наконец-то на ногах у хозяина Еврема по прозвищу Хозн на ногах оказались новехонькие высокие ботинки со шнурками, по которым он так страдал в последние годы своей жизни. Они были из светлой кожи, но бабка Мойца по этому случаю, как и полагается, перекрасила в черный цвет краской, которой обычно красят железные трубы. Господь сотворил ее расчетливой, и потому она сначала послала Бель Ами к сапожнику, чтобы тот набил на ботинки подковки. Тот спросил мальчика, справа или слева снашивались каблуки у покойного хозяина Хозна, но тот не сумел ответить ему.

За полгода до смерти хозяин Хозн опять начал выходить в город в белых теннисных тапочках от «Бати», которые удалось раздобыть для него. Странно было видеть огромного старика, с достойным животом и гордой осанкой, одетого в полосатый костюм, сшитый на заказ из прекраснейшего английского сукна, как он медленно тащится по улице в белых тапочках, неся на плече свернутый в трубку персидский ковер, который он пытался продать. Так он обходил своих прежних клиентов, но они в основном или померли, или еще не вернулись из эмиграции. Он, которому до войны каждые десять шагов приходилось приподнимать свою шляпу «борсалино», чтобы приветствовать на все четыре стороны знакомцев, сейчас не мог обнаружить никого из них. Сараево заселили пришлые и беженцы (мухаджеры), не желавшие покупать самаркандские ковры. Им хватало обычной подстилки. У дверей былых уважаемых клиентов не было больше ковриков для вытирания ног; вместо них стояли ряды грязных башмаков и деревянных сандалий. Все чаще он стал искать забвения в самой дешевой ракии, резко отдающей сивухой, распивая ее по пивным в Башчаршии с грузчиками и распоследними пьяницами, часто даже не снимая с плеча ковер, который пытался хоть кому-то продать и тем самым опять, кто знает, в который раз, приподняться. Именно в нем четверо грузчиков, каждый ухватившись за угол благородной ткани, принесли его, мертвого, домой и положили на пол, потому что в доме не было уже обеденного стола.

Вскоре за дедом тихо, во сне, угасла и бабка Мойца, под чьим матрасом нашли старый потертый бумажник с тайными сбережениями (в основном с вышедшими из употребления банкнотами исчезнувших государств) и написанными по-словенски распоряжениями относительно собственных похорон.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru